

КОМИТЕТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

ГРУППА

«ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТРУДА»

(ИЗ АРХИВОВ Г. В. ПЛЕХАНОВА,
В. И. ЗАСУЛИЧ И Л. Г. ДЕЙЧА)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Л. Г. ДЕЙЧА

СБОРНИК № 2



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА □ □ 1924

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
<i>Г. В. Плеханов.</i> —Философская эволюция Маркса, посмертная рукопись с предисловием Л. Аксельрод (Ортодокс)	5
<i>В. И. Засулич.</i> —Нечаевское дело, посмертная рукопись с прим. А. И. Успенской и Л. Г. Дейча	22
<i>Л. Г. Дейч.</i> —Был ли Нечаев гениален?	73
<i>П. Б. Аксельрод.</i> —О задачах научно-социалистической литературы («письмо к товарищам»)	87
<i>О. Нельский.</i> —Движение русской общественной мысли от идеализма к марксизму (Белинский—Чернышевский—Плеханов)	103

<i>Л. Г. Дейч.</i> —Из Кариийских тетрадей: I. Жизнь Плеханова в Бэжи над Клараном; II. Переговоры с «придворными сферами»	119
<i>М. Рыжанская.</i> —Первый реферат Плеханова в Цюрихе	145
<i>М. Вископф.</i> —Члены группы «Освобождение Труда»	149
<i>Ц. С. Гуревич-Мартыновская.</i> —Знакомство с Г. В. Плехановым и В. И. Засулич	160
<i>Н. Кулябко-Корецкий.</i> —Эмигранты и наивный миротворец (из встреч с членами группы «Осв. Тр.»)	168
<i>Л. Г. Дейч.</i> —Аарон Зунделевич (один из первых социал-демократов в России)	185

ПИСЬМА:

<i>Л. Дейч и В. Засулич.</i> —Плехановым	217
<i>В. И. Засулич.</i> —К. Марксу	220
<i>К. Маркс.</i> —В. Засулич	222
<i>Я. В. Стефанович.</i> —Г. В. Плеханову	225
<i>Л. Г. Дейч.</i> —В. И. Засулич и остальным членам группы «Освоб. Труда» (из тюрем, каторги и ссылки)	227
<i>Г. В. Плеханов и Ф. Энгельс.</i> Переписка, с предисл. Л. Дейча.	306

ЭМИГРАНТЫ И НАИВНЫЙ МИРО- ТВОРЕЦ

(из встреч с членами группы «Осв. Тр.» в 80-х г.г.)

I.

«Стоял» 1887 год.

Это выражение не случайно употреблено мною: в России был политический штиль: казалось, что время остановилось.

Однообразные дни, сонные и вялые, не приносили новых впечатлений.

Михайловский, не без основания, советовал называть эти дни ночами: друзья — на каторге, а те из них, которые уцелели, мучительно бьются над вопросом, как разбудить эту сонную стихию, т.е. Россию конца 80-х годов.

Без помпы, втихомолку, продолжалась расправа правительства с революционерами, неторопливо, с большим опозданием печатались правительственные сообщения о смертных приговорах и казнях: 8-го мая пять виселиц (Шевырев, Андреюшкин, Осипанов, Ульянов, Генералов ¹⁾), а через месяц снова смертный приговор двум десяткам человек, с Г. Лопатиным во главе.

Читатель скажет: «Хорош штиль, хороши ночи!».

«Разве это отсутствие впечатлений, когда выносятся смертные приговоры?..»

Без колебания отвечаю: — «Да!».

¹⁾ По делу о покушении 1 марта 1887 г. на Александра III. Л. Д.

Выносится смертный приговор; о нем когда-нибудь, через месяц, казенным языком объявит правительственное сообщение — и больше ни строчки, ни слова, ни в радикальной, ни в реакционной прессе. Погиб человек в руках у палача, а отзыв в громадной стране совершенно такой же, как будто желтый лист упал с дерева.

Свинцовой гирей давила Россию сонная коренастая фигура Александра III.

Надо вырваться в Европу: при всех недостатках любого государственного строя все же там свобода слова и печати, завоеванные в большинстве стран на баррикадах 48 года, а, главное, там в Европе наши политические эмигранты, эти милые, дорогие мне братья, имевшие возможность на досуге, в благоприятных условиях, обсудить, а может быть, и решить наиболее важные из интересовавших меня вопросов.

Правда, милые, дорогие братья очень огорчили меня как раз в это время. Находясь в России, не было возможности основательно следить за эмигрантской печатью, а следовательно, и дать себе отчет, кто и насколько прав; по отрывочным же и случайным известиям можно было лишь заключить, что наши эмигранты, если и являются братьями, то разве на самый первобытный манер — это было нечто вроде нового издания Каина и Авеля.

Я говорил себе: как же эти умные люди не понимают, что, заушая друг друга, они работают на пользу общего врага?

Нет, надо поехать, убедить их на время позабыть обо всем, что разделяет врагов самодержавия; нужна программа минимум, которая в качестве первой ступени политического прогресса была бы приемлема для всех революционных и оппозиционных групп.

От'езду мешали «административные» причины: я был прикреплен к уездному городу с применением правил о гласном надзоре.

Медленно тянутся дни, но вот срок окончен, от'езд назначен на завтра, заграничный паспорт предварительно исхodataйствован, но в тот момент, когда я протягиваю руку, чтобы получить его, исправник без всякой иронии и без

всякого злорадства, даже с некоторым смущением, говорит мне:

— За вами маленький должок — надо отбыть двухнедельный арест, к которому вы приговорены судом за самовольную отлучку еще в прошлом году.

— Хорошо, — отвечаю не без досады, — отправьте меня под арест немедленно, — пусть идет в счет и нынешний день.

Двухнедельный арест, когда чемоданы уже уложены, казался бесконечным.

За многое любил я Зап. Европу и хотелось, не сдеша, использовать ее; поэтому и поездка с внешней стороны была обставлена очень оригинально: я собрался ехать на собственных лошадях.

Позже Пলেখанов язвил:

— Странно, почему же не на верблюдах?

Однако, познакомившись с причинами моего решения, Георгий Валентинович согласился, что затея эта, столь оригинальная, имела большие преимущества ¹⁾.

Из Гомеля через Чернигов, Киев и Житомир я добрался до Австрии. Вот и главный город Галиции — Львов. Все идет хорошо, впечатлений много, уже начались кое-какие сношения с редакциями русинских газет.

Однако в Галиции

Так много полиции...

Да, полиция уже ходила за мною по пятам. И вот... лишение свободы, обстоятельный допрос...

— Куда вы едете?

— В Париж.

Обер-комиссар иронизирует:

— Из Гомеля в Париж на лошадях?

— Сколько денег при вас?..

— 2 тысячи рублей.

— Откуда взяли вы их?..

— Продал хуторок.

¹⁾ Тем не менее, когда, много лет спустя, я после побега из Сибири свиделся с ним, то неоднократно слышал от него шутки и остроты по этому поводу: при соответствовавших случаях он сообщал об этом оригинальном способе езды в конце XIX ст. Л. Д.

Проходят долгие часы, допрос все продолжается, затем обер-комиссар объявляет, что произведет обыск на моей квартире.

Обыск, конечно, тщательный; дорожный револьвер, найденный под подушкой, не интересует комиссара, но, — проклятие, — на письменном столе лежит не совсем оконченная статья в одну из русских газет: в ней я желчно говорю об австрийской социальной и национальной политике. Комиссар кладет статью в свой портфель, а при дальнейшем обыске он забирает письма к Плеханову, Засулич, Агесльроду, Драгоманову, Дебогорию-Мокриевичу и становится окончательно мрачен.

— Я оставляю вас на свободе, — говорит он мне, — до решения дела, но вы должны отдать мне в залог все ваши деньги.

Конечно, подчиняюсь и оставляю у себя только несколько десятков гульденов на текущие расходы.

На другой день мне и моей спутнице (которая тоже интересуется заграницей и тоже любит путешествовать на лошадях) объявляют постановление наместника Галиции о нашей высылке из пределов Австрии, при чем мы обязывались лошадью или продать в 48-часовой срок, или погрузить их в вагон. Я протестую, говорю дерзости директору полиции, но, увы, не могу обратиться к защите русского консула: во-первых, русские консулы никогда никого не защищали, во-вторых, в руках австрийцев письма к эмигрантам, а русская граница всего в 100 верстах.

Лошади, экипаж, упряжь проданы; польские газеты информируют по моему адресу, русины выражают сочувствие, редакторы газет приезжают на вокзал проводить нас, при этом много дам и много цветов. Дружеские слова, дружеские рукопожатия... Поезд отходит.

С нами едет инспектор полиции: у него мои 2 тыс. рубл., которые будут возвращены только на германской границе. Но деньги, вырученные от продажи лошадей, у нас, на эти деньги мы ведем дорожные расходы. Инспектор услужлив почти как лакей: он покупает билеты, таскает наши чемоданы; дорогой, просматривая газеты и узнав, что в Кракове выставка, мы решаем посетить ее. На это инспектор спокойным тоном, точно он говорит о вещи совершенно без-

различной, заявляет, что это невозможно, так как в Кракове мы будем находиться в тюрьме.

Моя спутница расхохоталась: известие производило сильное впечатление не потому, что впереди тюрьма, — к таким случайностям мы давно привыкли, — курьез заключался в том, что, ничего не подозревая, мы покупали железнодорожные билеты и, так сказать, ехали в тюрьму на собственный счет.

После довольно долгого пути нас доставили на краковский вокзал, а часом позже мы под'езжали на двух экипажах к тюрьме.

Инспектор требует у меня денег для расплаты с извозчиками, — я решительно отказываю. Он настаивает, выходит из себя, но я непоколебимо отвечаю: «Везете в тюрьму, так сами и платите».

Взбешенный инспектор нервно выкрикивает начальнику караула: «Везь тех рыштантов!».

Нудные воспоминания оставляет краковская тюрьма: окна из камер выходят не во двор, а в тюремный коридор, на обед только гороховый суп, но на свой счет позволяют лакомиться. Зачем быть скупым в остроге? Мы посылаем в ресторан за обедом и в магазин за фруктами.

Но какая тоска днем, какая бессонница ночью, какие ханжеские порядки? Женская половина тюрьмы набита проститутками, осужденными за то, что они, вопреки запрещению закона, появлялись на таких-то улицах и около таких-то костелов.

Из Кракова нас скоро вывозят на германскую границу, но здесь, вручая мне деньги, новый австрийский инспектор полиции высчитывает из них все расходы, понесенные на меня государством, в том числе на командировку двух инспекторов. Я ругаюсь, требую составления протокола. Представители германской власти осуждают своего австрийского коллегу и зло смеются над ним.

Мы опять свободны. Вот культурный Берлин, вот публичные социалистические собрания, дальше — очаровательный Дрезден с музеями и картинной галлереей, а вот и провинциально-кокетливый Мюнхен.

II.

Всюду останавливаюсь по несколько дней; наконец-то свободная Швейцария, Цюрих... Квартира Аксельрода.

Мы знакомимся, дружески разговариваем. Я страстно развиваю мою мысль о союзе эмигрантских групп, но тут же мне приходят в голову слова поэта:

На натиск пламенный
Был дан отпор суровый.

Моя мысль представляется Аксельроду совершенно нелепой: тут принципиальные расхождения идут рядом с застарелой многолетней враждой.

— Как, мы — марксисты, и будем писать в одном журнале с конституционалистами, как Добровольский и Дебогорий и даже с националистом, как Драгоманов? Да, да, поезжайте в Женеву, поговорите с Плехановым, — посмеивается Павел Борисович.

Я сразу очень полюбил этого человека, — такого искреннего, такого бескорыстного. Он вел тяжелую борьбу за существование.

В голове — философские идеи, в сердце — целый ад политических страстей, а семью надо поддерживать, взбалтывая бутылки с молоком (Аксельрод соорудил небольшое кефирное заведение)¹⁾.

Вот цюрихская Oberstrasse, вот и русская библиотека и гурьба нашей молодежи; быстро знакомлюсь со всеми, с некоторыми схожусь на многие десятки лет. Здесь: только что бежавший из России, замешанный в деле 1 марта 1887 г., О. М. Говорухин, с которым я потом коротал целые годы то в Париже, то в Болгарии; Дембо, вскоре разорванный бомбой в горах, и его товарищ по несчастью Дембский, польский эмигрант, пострадавший при том же взрыве; Бек, читавший молодым людям свои рефераты; С. Л. Шентис, усердная и трудолюбивая студентка, впоследствии врач в Париже; державшаяся особняком, всегда грустная и серьез-

¹⁾ Он работал в нем со своей семьей с утра до полуночи и только благодаря этому еле пропитывался. Л. Д.

ная О. Н. Фигнер, пред умственным взором которой вечно находились ее три осужденных сестры (две в то время были в Сибири, а третья — в Шлиссельбурге).

Все приветливы, многие интересны, но мне недосуг задерживаться в Цюрихе: спешу в Женеву и прежде всего разыскиваю Плеханова. Он выслан из Швейцарии и живет на французской территории в деревушке Морнэ. Иду к нему пешком и нахожусь во власти недоброго чувства: мне только что прочли несколько страниц из книги Плеханова: «Наши разногласия», — тон этой книги идет вразрез с моими намерениями.

Как могут примириться люди, запускающие друг в друга подобными книгами?

1887 год. Это был год смерти «Народной Воли». Покойник, оставивший по себе священную память, еще в гробу, а его отчитывают ¹⁾ в таком тоне, который может порадовать общего врага.

Но вот я в скромной квартире Плеханова, и враждебное чувство к нему быстро тает.

Опасный, злой, беспощадный оппонент, безжалостный полемист, он держал себя джентльменом в частных отношениях; дома — это гостеприимный хозяин, деликатный, внимательный собеседник, интересный, находчивый, а главное веселый.

Я говорю ему о цели моего приезда и осуждаю полемический тон «Наших разногласий».

Плеханов отшучивается и со смехом говорит: «В России нельзя упрекать книгу за вредное направление, если она пропущена цензурой, — давайте, будем применять это правило и здесь: раз корректурные оттиски пропустила Вера Ивановна, значит, в содержании не было ничего чересчур задорного».

Появившаяся в эту минуту на пороге Вера Ивановна Засулич возражает с добродушной укоризной: «Нет, нет, Жорж, — резкости находятся как раз в первых страницах, которые напечатаны без моей цензуры».

¹⁾ Это неточное выражение может вызвать неправильное предположение, будто «Наши разногласия» появились в 1887 г., между тем они вышли в 1885 г. Л. Д.

Мы без усталости обмениваемся взглядами, фактами, впечатлениями. Я остаюсь ночевать у этих гостеприимных и незабвенных людей.

Позже, когда я близко узнал Плеханова, меня стала преследовать неотвязная мысль: этот человек, этот мыслитель, этот ученый, блестящий, талантливый, вернее — гениальный, живет в нищенской обстановке, по временам буквально не имея возможности утолить голод. Доживет ли он до того дня, когда рабочий класс России почтит в нем своего пророка, своего духовного вождя?

Люди, в десять раз менее талантливые, устраивались комфортабельно и сытно, а он случайно заблудившую к нему горсть франков тратил на печатание новых и новых сочинений, игнорируя порой самые насущные требования повседневной жизни.

Конечно, Плеханов и Засулич, Драгоманов и другие эмигранты отнеслись отрицательно к моей идее — объединить их на общей платформе, приемлемой хотя бы лишь для данного политического момента.

Но вдруг меня выручил случай: беседа ночи напролет то с тем, то с другим из них, я вскоре заметил, что эти люди, не встречавшиеся целыми годами, бескорыстно заблуждаясь, приписывают друг другу всевозможные небывалые, а между тем во взглядах на задачи ближайшего политического момента они сходятся.

Плеханов как-то сказал мне о Драгоманове: «Как, чтобы я стал писать с ним в одном журнале? Нет уж, увольте! Для меня Александр III более приемлем, чем этот профессор, находящийся во власти национальных предрассудков. Он не дорос до понимания прав человека»...

В тот же вечер Драгоманов говорил: «Нет, я не могу писать с этими мальчишками — чернопердельцами: знают ли они, что такое права человека?».

Прошу читателя поверить мне: именно такое странное совпадение имело место. Я живо сообразил, что не все потеряно, и предложил каждому из влиятельных эмигрантов изложить его взгляды насчет ближайших политических дезидерат.

Отказа не было: Плеханов и Засулич быстро заполнили листок бумаги, скрепили его своими подписями и почтой

отправили в Цюрих, предлагая Аксельроду сделать то же самое (четвертый член этого исторического союза, Л. Г. Дейч, находился в то время на каторге).

И Драгоманов, и Дебогорий-Мокриевич, и Добровольский также охотно исполнили мою просьбу. В то же время при помощи почты я снесся с эмигрантами, жившими в Париже и Лондоне. Успех анкеты превзошел всякие ожидания: около десятка листов лежало предо мной, и содержание их было почти совершенно тождественным. В некоторых случаях повторялись не только мысли, но и самые выражения.

Все сходились на том, что очередной задачей момента являлась борьба за политическую свободу.

Такие слова, как «свобода печати», «свобода слова», «всеобщее избирательное право», «свобода собраний», повторялись каждым из запрошенных мною лиц, — я торжествовал.

Невероятное предприятие становилось возможным. И Драгоманов и Плеханов, перечитывая все полученные ответы, с изумлением протирали глаза и убеждались, что черным по белому люди, казалось, противоположных политических оттенков, свидетельствуют о своей солидарности на почве ближайших целей и задач.

Было решено, что Дебогорий-Мокриевич, как представитель драгомановской группы, и Плеханов, представлявший группу «Освобождение Труда», вместе со мною обсудят план общего журнального предприятия.

Во время этого коротенького заседания произошло два любопытных столкновения. Разгорячившись по какому-то поводу, Дебогорий запальчиво воскликнул: «Я был революционером, когда вы, Жорж, штанов еще не носили!».

Плеханов спокойно возразил: «Но теперь, когда мы оба в панталонах, надеюсь, вы можете разговаривать со мной, как равный с равным».

Возник щекотливый вопрос, кто будет редактором в нарождавшемся журнале.

Дебогорий-Мокриевич поддерживал кандидатуру Драгоманова и пространно говорил: «Это дело ответственное. Вот на днях прислали статью, которую мы шутя назвали «Николай чудотворец», но все же решили переделать ее, чтобы

она была похожа на «Варвару великомученицу», да забыли стереть бороду, вышла Варвара с бородой».

Плеханов недоуменно посмотрел на собеседника и выпустил одну из самых ядовитых своих стрел: «Оставаясь на почве этих иконописных примеров, — сказал он, — я помню, как баба покупала икону «Георгия победоносца». Его обычно рисуют на коне, а продавец икон предлагал купить только изображение коня. — Где же самый святой? — допытывалась покупательница, на что продавец спокойно ответил: «Он на малое время отлучился». — Так вот, видите, — победно загремел голос Плеханова, — в том журнале, который станете редактировать вы с Драгомановым, социализм и был бы святым, который на время отлучился, да неизвестно когда и вернется».

Я употреблял все усилия, чтобы такие вышпыки не довели собеседников до полного разрыва.

Вопрос о редакторе был временно снят с очереди. Дело налаживалось. Состоялось более многочисленное эмигрантское собрание, на котором будущие сотрудники обсуждали детали предстоящей журнальной работы. Помню, здесь был и И. И. Добровольский, писавший в то время в «Русских Ведомостях» (Добровольский был приговорен на каторгу по делу 193-х), была и В. И. Засулич, и О. Н. Фигнер, и еще человек семь-восемь. Вдруг Добровольский заявил:

— К чему эти разговоры, пока нет денег? Пусть на этом столе появится хотя бы тысяча франков, тогда всякий будет понимать, что начинать дело можно.

Произошла заминка, но в тот же момент я положил на стол банковый билет и сказал: «У меня нет франков, но полагаю, что тысяча рублей, лежащая здесь, имеет все преимущества перед суммой, названной вами».

Тогда был выработан план, в силу которого эмигранты должны были немедленно приступить к изданию органа, содержание которого могло бы объединить не только почти все революционные течения, но также и оппозиционные элементы, находящиеся в России.

В этих видах, еще не дожидаясь выхода 1-го номера, меня спешно командировали в Россию подготовить почву, — объявить всем, кому возможно, что наши политические эмигранты столкнулись насчет ближайших задач, что нужно

наладить перевозку журнала, поддержать его деньгами и сообщением свежего фактического материала, касающегося наиболее жгучих сторон русской жизни.

Я без промедления помчался в Россию. Виделся и говорил там со многими писателями, общественными и политическими деятелями — с Мачтетом, Эртемом, Златовратским, И. И. Петрункевичем, В. И. Покровским, каракозовцем П. Ф. Николаевым, П. А. Бакуниным (родным братом Михаила Александровича). В Орле я даже разыскал П. И. Зайчневского, жившего там после каторги.

Привезенные мною вести радовали всех. Бакунин с барской небрежностью сказал: «Денег на первое время найдется тысяч 30, — они найдутся!».

Все шло на лад. Но, когда через три месяца я вернулся за границу, оказалось, что эмигранты окончательно перессорились, и уже не было никаких надежд примирить их.

Добровольский с педантичной аккуратностью вручил мне мои деньги, и, зажав их в кулак, я стоял на перепутьи с грустными думами.

Социал-демократическая литература, задорная, с резкими полемическими приемами, нравилась мне всего менее, но самих социал-демократов я любил, и, убедившись, что они не были повинны в крушении журнального предприятия, я понес деньги к Плеханову.

Таким образом в 1888 г. и был издан «Социал-Демократический Сборник».

Каждый раз, когда я вспоминаю об этих людях, предо мною встает та тяжелая материальная нужда, в обстановке которой они так мужественно жили десятки лет. Геройское поведение Засулич 24 января 1878 г. ¹⁾, такое же поведению Плеханова 6 декабря 1876 г. ²⁾ знает всякий, а вот об этих годах, проведенных на чужбине, потомки будут судить только по сочинениям, оставленным упомянутыми людьми, по мыслям, по задачам, и вряд ли кто догадается, что равнодушный народ оставлял их без мате-

¹⁾ В этот день В. И. Засулич совершила покушение на ген. Трепова. Л. Д.

²⁾ Г. В. произнес речь во время демонстрации на Казанской площади. Л. Д.

риальной поддержки. Обыкновеннейший обед являлся довольно редким эпизодом [у них].

Голод, холод, порванная обувь, борьба с нуждой и в то же время горячее, неуклонное служение идеям, которые, в конце концов, получили общее, или почти общее, признание.

Р. С. Эта статья была уже написана, когда уважаемый Л. Г. Дейч стал выражать настойчивое желание, чтобы я пополнил ее дальнейшими подробностями, касающимися незабвенного Георгия Валентиновича. Охотно делаю это, от души жалея, что многие годы, прошедшие со времени моих встреч с Плехановым, ограниченность человеческой памяти и бесконечный ряд других впечатлений, засоряющих ее, окажутся в данном случае большой помехой.

Еще недавно, печатая мои воспоминания о встречах с Гэдом, Жоресом и Бебелем, я рассказал, как познакомился с первым из них, исполняя поручение Плеханова. Дело было в 1894 г.

Плеханов, точно Прометей, прикованный к скале, продолжал жить во французской деревушке Морнэ. Великий мыслитель, талантливый писатель, искрометный оратор, страстный политический деятель оставался в захолустной деревушке долгие, долгие годы не потому, чтобы он искал уединения, не потому также, что здоровье его требовало деревенского воздуха. Нет, это была какая-то безжалостная ссылка, на которую Плеханова обрекла вся совокупность тогдашних политических условий, все взаимоотношения тогдашней официальной Европы.

Судите сами: для Плеханова вернуться в Россию значило очутиться в каземате; Австрия и Германия не давали убежища русскому эмигранту; Швейцария уже выслала Плеханова; броситься в Англию или Америку, значило окончательно оторваться от русских дел или, по крайней мере, очень и очень отдалиться от них.

Деревушка Морнэ во французской Савойе имела то преимущество, что, находясь в нескольких верстах от швейцарской границы, в частности от Женевы, она посещалась многочисленными эмигрантами и туристами, частью оседавшими в Женеве, частью проезжавшими через этот город.

Но порою проходили скучные, томительные дни, а может быть, и недели, когда никто не заглядывал в Морнэ, и человек, переполненный мыслями и кломотавшими в нем страстями, одиноко сидел в изгнании, ни на минуту не забывая свою пророческую формулу: «Революция в России будет как рабочая революция или ее вовсе не будет».

А русские рабочие в это время потягивались после многолетнего сна, медленно, очень медленно, просыпались, и не всегда весть об этом пробуждении своевременно доходила до морнэйского отшельника, иногда не знавшего, чем утолить голод. В общем, какая-то трагедия человеческого духа. Но горшее было впереди.

Французское правительство с министром-президентом Казимиром Перье во главе собиралось выслать Плеханова из Франции, под вымышленным предлогом, будто он анархист. В это время, в начале 1894 г., я приехал из Парижа в Женеву на несколько дней по делам и, урвав свободный вечер, отправился в Морнэ к Плеханову.

Я любил этого человека, любовался его талантами и бескорытием, почти никогда не соглашаясь с ним в главнейших вопросах, возникавших в те времена. Может быть, эти разногласия делали моего собеседника особенно интересным, его речь искрилась, превращаясь порою в настоящий фейерверк.

Особенность этих бесед заключалась в том, что, несмотря на их дружелюбный характер, почти никогда не затрагивались личные вопросы, т.-е. обсуждались целые вороха фактов, общественных или политических, но не приходило в голову спросить, как же человек справляется с насущными потребностями, хотя было очевидно, что подчас они создают положение очень острое, может быть, даже катастрофическое.

На этот раз, однако, Плеханов стал расспрашивать, как я устроился в Париже, как идет открытая мною там для эмигрантов библиотека, а затем сообщил, что он хочет дать мне маленькое поручение, после чего рассказал, что французское правительство уже решило его высылку из пределов государства.

В то время социалистическая фракция в Палате Депутатов насчитывала около 50 человек, но это была лишь

одна двенадцатая общего числа членов собрания. Во главе фракции стоял Жюль Гэд, личный друг Плеханова, и последний полагал, что, опираясь на такую энергичную фракцию, хотя бы составляющую меньшинство, Гэд сумеет без большого труда повлиять на упрямого Казимира Перье в деле, относительно, столь маленьком, как высылка русского эмигранта. Он поручал мне обстоятельно переговорить с Ж. Гэдом, на что я охотно согласился.

Затем, задумчиво, как бы мечтательно (в такой тон Плеханов впадал очень редко), он занялся географическим анализом Европы, оценивая разные государства с точки зрения их пригодности для жизни русского эмигранта вообще и своей в частности. Итоги получались печальные: одни страны выдавали, другие уже отказали Плеханову в убежище, третьи находились на отшибе, четвертые слишком далеко от России. Вдруг Плеханов как бы встряхнулся и, впадая в обычный, более свойственный ему саркастический тон, весело сказал мне: «Знаете ли, что я думаю: раз земля меня не принимает, выход один: обзавестись воздушным шаром и жить в небесном пространстве».

В одном журнале я огласил беседу с Гэдом по этому поводу и его дружелюбный, но крайне оригинальный ответ.

Запрещение швейцарского правительства, лишившее Георгия Валентиновича права жить в Гельветической республике, проводилось без назойливого формализма: в некоторых случаях Плеханов мог ненадолго появляться в Женеве: например, твердо помню, что в январе 1888 г. мы отправились на митинг, организованный польскими эмигрантами по случаю 25-летия со времени польского восстания 1863 г.

Стояла морозная погода. Вдруг обнаружилось, что у Веры Ивановны Засулич, шедшей с нами, ботинки имеют только видимость обуви и совершенно лишены подошв, вместо которых уже давно были сплошные дыры. Плеханов решительно настоял, чтобы мы зашли на городскую квартиру, где жила его жена — Розалия Марковна с двумя дочерьми, там он добыл каким-то чудом сохранившиеся теплые сапоги и, подавая их ей, весело сказал: «Наденьте, Вера Ивановна, — не сапоги, а отцы родные».

Но вот, мы через четверть часа на польском митинге. В то время, когда нас усаживали, в качестве почетных гостей, в первом ряду, подошел Драгоманов. Он критически оглядел крайне тенденциозное убранство залы, где всякая мелочь говорила «о Польше от моря до моря», и, смешивая украинский язык с русским, сказал, наклоняясь ко мне: «Однако ции ляхи народ неисправимый: поглядите — пристроили над президиумом Архангела Михаила, це — их Кийвська емблема, — значить, воны и Киев присобечивають. Удивительно, що воны не претендують на Костромскую губернию, где два ляха украли теленка, когда, кстати, Иван Сусанин спасал царя». — При этих словах Плеханова передернуло. «Ну скажите, — шепнул он мне, — можно ли с таким человеком иметь какое-нибудь дело? — Он весь напичкан национальными вопросами, национальными интригами, национальными претензиями».

Через минуту заговорили ораторы: проф. Лясковский, писатель Еж (престарелый участник восстания), молодой революционер Валицкий. Речи произносились на французском языке.

Проважаемый бурными аплодисментами, Лясковский вдруг остановился и, покрывая своим голосом треск рукоплесканий, воскликнул: «Я счастлив в глубокой уверенности, что эти знаки симпатии относятся не ко мне, а к моей несчастной родине».

Что касается до Ежа, то он вызвал большое волнение, когда старческим, дрогнувшим голосом сказал: «Люди моего поколения уже уходят в могилу, но мы верим, что наши преемники доведут до конца дело освобождения родины».

Всем ораторам отвечал швейцарский политический деятель Фази, говоривший, что нация, насчитывающая от 12 до 15 миллионов человек, не умирает (в настоящее время, после достигнутых Польшей территориальных успехов, эти цифры покажутся мизерными).

Во время речей Плеханов явно волновался. По каким-то причинам, — как мне теперь кажется, вследствие невозможности афишировать свое появление в Женеве, — он не мог выступить с речью, и его, оратора по темпераменту, это заметно нервировало. Я шопотом сказал ему: «Вы — как боевой конь, услышавший шум битвы».

* * *

Проходили годы. Рабочий класс в России стал подавать признаки жизни. Плеханов стал неузнаваем.

По словам Зиновьева, Ленин утешал своих нетерпеливых товарищей, говоря им: «Разве наша эмиграция тянется долго? — Нет, поглядите на Плеханова — вот это была эмиграция, когда человек поставил политический прогноз и притом совершенно правильный, но должен был десятки лет ждать, пока его пророчество сбудется».

Да, в 1900 г. я застал Георгия Валентиновича в очень приподнятом настроении: из России шли бодрящие вести: рабочие организации росли, как грибы. Между русским пролетариатом и его вождем установилась прочная связь.

Лето 1900 года Георгий Валентинович с семьей и с Верой Ивановной Засулич проводил в Корсье на берегу Женевского озера.

Возвращаясь с Парижской выставки и узнав в Женеве адрес моих друзей, я сел на пароход в сопровождении некоего Л. (впоследствии член Государственной Думы, трудовик).

Вот и пристань Корсье. Идем по берегу, руководясь адресом.

Через несколько минут мой спутник заявляет: «Перед деревом на скамейке сидит мужчина лет 45 и женщина лет 50 — они смотрят на вас и улыбаются, — мы сейчас подойдем к ним». — Это и были Георгий Валентинович с Верой Ивановной. Да, смеющийся, жизнерадостный, бодрый, помолодевший Плеханов был неузнаваем. Он говорил, рассказывал, острлил больше прежнего и упоминал о русских делах не так, как прежде, когда в тоне слышалось упование и вера; нет, теперь в его голосе был оттенок торжества.

Плеханов оставил нас обедать. Вся обстановка его жизни хотя и скромная, все же доказывала, что годы острой нужды уже остались позади. После обеда, уединившись со мною, Плеханов стал говорить с откровенностью, не совсем обычной, о своих ближайших планах, о партийной газете, которая возникнет через несколько месяцев, но на вопрос, как она будет называться, он неохотно и после некоторой паузы

процедил: «Искра», — и тут же добавил: «Впрочем, вопрос о названии еще окончательно решен».

Вдруг, как бы вспомнив, что я все-таки чужой (т.-е. не социал-демократ), Плеханов дал волю своему темпераменту полемиста.

Здесь нужно напомнить, что дело было в самый разгар знаменитой борьбы между ним и Н. К. Михайловским, при чем обе стороны печатно обвиняли друг друга в нарушении правил корректной полемики.

— Собираетесь заехать в Петербург? — спросил Плеханов и, получив утвердительный ответ, продолжал: — и уж, конечно, будете видеться с Михайловским?

— Да, непременно буду видеться с Николаем Константиновичем, — сказал я.

— Ну вот, в таком случае не откажитесь исполнить маленькое поручение.

При этих словах я насторожился, а он продолжал самым невинным тоном:

— Видите ли, в Харькове жулики называются «раклами». Вот один такой ракло стал тащить ночью на улице с прохожего пальто. Прохожий сначала растерялся, а затем, схватив грабителя за шиворот, стал накладывать ему по шее. Тут ракло, становясь в позу оскорбленной невинности, заговорил: «Господин хороший, а ведь драться-то нынче не приказано».

При последних словах Плеханов расхохотался. Смеялся и я, говоря: «Нет, уж от этого поручения увольте!».

* * *

Дорогие тени, прежде времени ушедшие от нас! Плеханов люто враждовал: он наносил противнику тяжеловесные полемические удары. Опасный враг, он был, однако, врагом честным, врагом благородным.

Воронеж, 15/III 1924 г.